

**Отзыв официального оппонента
о диссертации Гузалии Сайфулловны Хазиевой-Демирбаш
«Татарские личные имена в этнокультурном пространстве
в сравнении с другими тюркскими антропонимами»,
представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук
по специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание**

Антропонимическая система в составе любого конкретного этнолингвокультурного континуума занимает важное положение, а потому аффилирована со многими сферами жизнедеятельности общества – социальной, культурной, языковой, психоментальной и т.д. Уже по этой причине рассматриваемая диссертация просто обязана быть многоплановой, многоаспектной, трансдисциплинарной. Сложность темы усугубляется ещё и тем обстоятельством, что автор осмелился замахнуться на сравнительное историко-генетическое изучение татарских личных имён с привлечением соответствующего репрезентативного эмпирического материала из широкого круга родственных (тюркских) и исторически контактировавших (иранских, семитских, западноевропейских, славянских и др.) языков. Мало того, интересы автора диссертации выходят на широкое экстралингвистическое пространство и вторгаются в сферу компетенции смежных с лингвистической компаративистикой социально-гуманитарных дисциплин – от этнологии и социально-культурной антропологии до фольклористики и истории.

Правда, такая щедрота души не всегда лучшим образом сказывается на общем научно-теоретическом уровне исследования, но уже само обращение к экстралингвистической стихии, сбор, систематизация и ввод в научный оборот уникального этнокультурного материала (Хазиева-Демирбаш, 2017; см. также список опубликованных работ соискателя в автореферате, с. 33–40) дорогого стоит. Тем не менее, вынужден заметить, что такой широкий разброс интересов определённо мешает однозначному определению темы, объекта и предмета исследования. Думаю, что будет правильно, если некоторым образом абстрагироваться от многих приятных для меня экстралингвистических прелестей (признаюсь, что я на них неровно дышу) и сосредоточиться в данном отзыве исключительно на интерлингвистической (микролингвистической) прозе. При таком «строгом» подходе суть диссертации Г.С. Хазиевой-Демирбаш сводится к сравнительному историко-генетическому исследованию татарских личных имён (индивидуальных антропонимов) XVI–XXI вв. на широком этнокультурном фоне. Исторические экскурсы в более глубокие диахронические страты (пракыпчакский, древнетюркский) прямого отношения к формированию татарского антропонимикона XVII–XXI вв. не имеют.

Согласно автору, «объектом исследования являются татарские личные имена в сравнении с другими тюркскими антропонимами» (Диссертация, с. 12; Автореферат, с. 7). Я бы внёс в это определение маленькую изюминку – вставил перед «антропонимами» уточняющее словечко «индивидуальными», ибо «антропоним» – это не только личное имя, но и отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка и проч. А работа в целом посвящена исключительно личным именам.

«Предметом исследования, – по утверждению автора, – выступают историко-генетические, семантико-структурные и функциональные особенности татарских личных имен в этнокультурном пространстве языка» (Диссертация, с. 12; Автореферат, с. 7).

В этом выражении меня смутило понятие «этнокультурное пространство языка». Я долго искал в системно-структурном строе языка то место, куда можно было бы пристроить это самое «этнокультурное пространство», но мои усилия оказались тщетными.

Соискатель утверждает, что «этнокультурное пространство языка – структурированная совокупность вербально закодированных духовных ценностей,

зафиксированных в фольклорно-этнографическом и историческом контекстах, актуализирующихся в языке» (Диссертация, с. 12). Нет слов, написано научно и красиво. Если из этого витиеватого определения убрать словесную мишуру, то в сухом остатке окажется вербальный фольклор, который, хотя и «актуализируется в языке», а если быть более корректным, средствами языка, но в любом случае прямого отношения к языку, как определённому классу знаковых систем, не имеет.

Полагаю, что идея «этнокультурного пространства языка» навеяна работами Н.Ф. Алефиренко, но у него речь идет о «ценностно-смысловом пространстве языка», в основе которого «лежат особые культурологические категории, называемые ценностями» (Алефиренко, 2010, 9). Отсюда ясно, что «ценностно-смысловое пространство» по Н.Ф. Алефиренко относится к культурологической категории, а не к лингвистической. «Этнокультурное пространство», как явствует из самого термина, также относится к культурологии, поэтому следовало бы обсуждать проблему функционирования языка в этнокультурном пространстве. В отечественной этнолингвистике личное имя рассматривается в лучшем случае как «часть вербального (языкового) кода традиционной духовной культуры», но это далеко не «этнокультурное пространство языка». Кстати, выше автор совершенно корректно писал, что «...сравнительное исследование антропонимических систем родственных языков в этнокультурном пространстве, нацеливающее на определение сходства и своеобразия семантики личных имен в фольклорных, диалектно-этнографических и исторических источниках, позволяет осмыслить общие и особенные характеристики культуры, истории, мировоззрения определённого круга тюркских народов» (Автореферат, с. 3). Да и в самой диссертации утверждается: «Общность мировоззрения этноса, народа об окружающем мире, о человеке, о жизненных идеалах, о социальных установках, обуславливающих основные общественные ориентации людей, мифопоэтическое мировосприятие, отражающее религиозно-философские формы сознания и включающие материалистические, религиозно-идеалистические элементы мировоззренческих систем *представляют этнокультурное пространство* (выделено мною. – Н.Е.), закреплённое и отражённое в культуре, в стереотипах поведения, в обрядах и обычаях, в традициях имянаречения, в антропонимиконе татарского народа» (с. 106). Как видим, о языке здесь – ни сном, ни духом.

Рецензируемая работа во многих отношениях носит трансдисциплинарный характер и соискатель постоянно мечется между лингвистической компаративистикой и этнолингвокультурологией (этнолингвистикой, лингвокультурологией), что, естественным образом, ведёт к терминологической неуравновешенности и неупорядоченности. В этом я, прежде всего, вижу не вину диссертанта, а симптомы «болезни роста» этнолингвокультурологии, процесс становления которой ещё далёк от завершения. Она ещё находится на стадии поиска параметров своего предмета изучения, собственной теоретической платформы, методологии, задач и разработки соответствующего терминологического аппарата.

Будь на месте автора диссертации, я бы ограничил себя сравнительным историко-генетическим изучением татарских личных имён, а этнокультурный аспект изучения антропонимических систем тюркских языков оставил на будущее. Но, увы, юношеский максимализм трудно поддаётся укрощению, и в результате мы имеем то, что имеем: «В диссертации впервые проведено комплексное сравнительное исследование репрезентированных языковых моделей в антропонимических системах тюркских языков (на примере татарского, башкирского и турецкого языков). Работа комплексно репрезентирует антропонимический материал в разноплановых в жанровом отношении памятниках письменности с учетом историко-лингвистических, этнокультурных характеристик личных имен в диахронии и синхронии» (Диссертация, 12–13).

В качестве пожелания на будущее хочется напомнить, что для изучения исторической динамики антропонимической системы казанских татар чрезвычайно

показательны дохристианские антропонимы чувашей, мари, удмуртов и, отчасти, мордвы, состоящие в основе своей из личных имён татарского происхождения.

Диссертация Г.С. Хазиевой-Демирбаш «Татарские личные имена в этнокультурном пространстве в сравнении с другими тюркскими антропонимами» (основной текст – 307 с.; вспомогательный научный аппарат и библиография – с. 308–370; приложение – с. 371–495) состоит из введения, трех глав и заключения, а также списка использованной литературы (646 названий) и приложения («Индекс татарских личных имен»), представляющего собой реестр татарских личных имен, извлечённых из писцовых книг конца XVI–XVII вв., «Ревизских сказок» XVII–XIX вв., метрических книг, актовых книг органов ЗАГСА и других источников (вплоть до настоящего времени). Структура диссертации хорошо продумана, логична и не вызывает замечаний.

В вводной части четко обозначены цели и задачи, поставленные автором для решения их в ходе дальнейших аналитических процедур, описана источниковая и фактуальная база эмпирического материала, а также эксплицированы все необходимые атрибуты диссертации.

В первой главе диссертации «Методологические аспекты изучения этнокультурного пространства антропонимической системы в контексте общелингвистических исследований» (с. 30–108) соискатель последовательно рассматривает теоретические и методологические вопросы «этнокультурного подхода к исследованию антропонимической системы» в зарубежной, отечественной, тюркской и татарской лингвистических традициях. Рассмотрению общетеоретических и методологических проблем современной этнолингвокультурологии в их исторической динамике посвящены целых семь параграфов, из которых первые четыре имеют историографический характер. Кстати, «большая половина» рассмотренных в этой главе работ ни прямого, ни косвенного, ни даже самого далёкого отношения к антропонимии татар и татарской антропонимике не имеет.

Нет никакой возможности подробно останавливаться на всех аспектах затронутых здесь проблем, поэтому ограничусь простым перечислением названий последних четырех параграфов: 1.4. «Этнокультурные и сравнительно-исторические исследования татарской антропонимической системы»; 1.5: «Мифопоэтическое значение личного имени в контексте исследований тюркской лингвофольклористики»; 1.6. «Этнокультурная семантика личного имени в тюркской лексикографической репрезентации»; 1.7. «Теоретические предпосылки описания и способы репрезентации этнокультурной семантики личных имён в тюркских языках». Уже этот перечень показывает, насколько широк круг представлений соискателя об «этнокультурном пространстве антропонимической системы». Однако чем шире круг проблем, тем больше возникает дискуссионных вопросов. Так, в ходе ознакомления с этими параграфами меня захлестнул вал вопросов, касающихся смыслового содержания терминологических оборотов «мифопоэтическое значение личного имени», «этнокультурная семантика личного имени», «мифопоэтическое значение онима» и т.п. Размышления над этими частными вопросами порождают более фундаментальную проблему: что такое семантика личного имени (шире – антропонима, ещё шире – онима вообще)?

Обобщив отечественный опыт исследований в области семантики антропонимов, видимо, можно признать объективным следующий вариант структурирования семантического ядра антропонима: *денотативный* (обозначенный) компонент, включающий семы соотнесённости с классом объектов; *референтный* (сообщающий) компонент, отражающий индивидуальный признак, которым данный объект отличается от совокупности однородных; *сигнификативный* (обозначаемый) компонент, содержащий семы признаков единичного объекта, выражаемые, главным образом, дескрипцией (описанием).

Ониматолог должен четко понимать, что нельзя огульно приписывать антропониму семантику исходной апеллятивной лексемы. Любая апеллятивная лексема, любая

синтагма, переходя в разряд личного имени, теряет свое истинное значение. Нарисательное имя является коннотативным в отличие от собственного, являющегося денотативным. Личное имя, таким образом, служит для соотнесения с данным референтом (т.е. называемым индивидуумом), указывает на объект (т.е. личность) безотносительно к его природным или отличительным свойствам. В ходе онимизации слово теряет собственное значение. Поэтому употребляя личное имя мы никогда не задумываемся о его этимологическом значении. Для большинства носителей языка номинативное лексическое значение личного имени (даже своего собственного) совершенно неизвестно. Поэтому утверждения типа «семантика личного имени включает в себя три составляющие: денотативную..., функциональную..., сигнификационную... функции» – от лукавого. И никакое «комплексное сравнительное изучение семантики и функционально-структурных особенностей антропокомпонентов» не даёт ничего такого, чтобы можно было «определить в системе описания антропонимической системы кластеры «Окружающий мир», «Внешний и внутренний мир человека», «Временная модель», «Социальная модель», «Мифопоэтическая модель...» и т.д. (Автореферат, с. 17). Все это относится к номинативной лексике, но не к «антропонимической системе». Кстати, нет чёткой определённости в понимании содержания термина «антропонимическая система»: в одних случаях это определённым образом организованная совокупность антропонимов (лингвистический аспект), в других – совокупность антропонимов и сопряженной с ними психоментальной, гуманитарной, обрядовой, духовной, соционормативной культуры данного этноса для данного времени (этнолингвокультурологический подход). И не всегда понятно, о чём конкретно идёт речь.

«Этнокультурный подход к исследованию антропологической системы» начал практиковаться относительно недавно, поэтому у данного направления, как, в общем, и у этнолингвокультурологии в целом, ещё много болезней роста. Одной из них, пожалуй, наиболее опасной, является игнорирование демаркационных границ между смежными дисциплинами. Интеграция дисциплин и синтез данных смежных наук вовсе не является поводом для стирания общетеоретических, методологических и прочих границ между даже самыми близкими сопредельными дисциплинами, как, скажем, мифология и фольклор, фольклор и этнология, социально-культурная антропология и этнолингвокультурология и т.д. Что же касается антропонимики, то у неё сложилась прочная научно-теоретическая база и собственная методология. Уже достаточно давно установлено, что реальный антропонимикон актуальной этнографической действительности развивается по своим внутренним законам, причем каждый конкретный разряд антропонима (фамилия, прозвище, криптоним, кличка и т.п.) имеет свои специфические закономерности развития. Реальное личное имя, закрепившись в том или ином фольклорном жанре, начинает жить своей собственной «фольклорной» жизнью. Одно дело – функционирование реальных антропонимов в фольклоре, другое дело – антропонимы (и другие виды онимов), появившиеся в недрах самого фольклора и «живущие» по законам жанра. Необходимо четко разграничивать «сказочные» личные имена, скажем, от «песенных», «загадочных», «пословичных». Каждый разряд фольклорного антропонима требует индивидуального подхода, особой методики. Тем более нельзя смешивать т.н. «мифонимы» и «фольклоронимы» – это две большие разницы.

Ахиллесовой пятой «казанской тюрко-татарской ономастической школы» является механическое сливание ономастики в этнолингвокультурологию (этнолингвистику, лингвокультурологию, лингвофольклористику) или наоборот. Суть «этнокультурного подхода к исследованию антропонимической системы» заключается в искусстве определения тех тонких граней, которыми ономастика (в данном случае антропонимика) соприкасается с другими социально-гуманитарными дисциплинами, и на основе синтеза взаимодополняющих и взаимообогащающих данных смежных дисциплин, искусстве обогащения научно-теоретической, методологической и эмпирической базы ономастики

(антропонимики). Диссертация Г.С. Хазиевой-Демирбаш является первым значительным шагом в этом направлении. Но, как гласит народная мудрость, первый блин на то и первый – он должен быть комом. Однако есть и другая мудрость: дорогу осилит идущий. Главное – дорога выбрана правильная. А задача оппонента – помочь соискателю уверенно продвигаться по этому пути.

Вторая глава «Ономастическая экспликация семантики обряда имянаречения и личного имени в татарском и других тюркских языках» посвящена экстралингвистическим, большей частью этнокультурологическим аспектам исследования «антропонимической системы». Она состоит из восьми параграфов (с. 109–204).

Название главы показалось недостаточно корректным. Во всяком случае мне не понятно, что значит выражение «ономастическая (видимо, все же антропонимическая) экспликация (т.е. истолкование, разъяснение, объяснение) семантики обряда имянаречения». Во-первых, что мы «эксплицируем» – личное имя (*Миннегол*) или ритуал (обряд)? Во-вторых, как личное имя (*Миннегол*) может эксплицировать обряд (скажем, бросание ложки в печную трубу)? И, в-третьих, что такое «ономастическая экспликация... личного имени», да ещё в татарском языке? По-моему, для данной главы более подходит название «Татарский антропонимикон в зеркале традиционной этнической культуры имянаречения».

Параграф 2.1: «Лексика обряда и ритуалов имянаречения в локальных вариантах культуры татар» к антропонимике имеет лишь касательное отношение. Изучение ритуально-обрядовой терминологии относится к ведению терминологии (большинство терминов представляет номинативные синтагмы и, следовательно, должны исследоваться на уровне синтаксиса, а не лексикологии, как это у нас практикуется). А обряды и ритуалы имянаречения относятся к ведению самостоятельной дисциплины – этнокультурологии.

Я отнюдь не склонен налагать ономастологам запрет заглядывать в предметно-понятийное поле смежных социально-гуманитарных дисциплин; совсем наоборот, я всячески поощряю это, но только в тех пределах, которые требуют интересы разрабатываемой темы. К сожалению, наш соискатель, переходя на территорию смежной дисциплины, часто забывает о своей теме и начинает собирать чужие плоды.

Автор диссертации полагает, что в «традициях татар одним из магических средств изгнания нечистых сил, обладающих лечебно-охранительной функцией, является обычай переименования (*исем алыштыру*)» (с. 201, подробнее – с. 119 и след.). Если быть более точным, обычай переименования относится к охранительной магии. Согласно народным поверьям, нечистая сила ищет конкретного ребёнка, предназначенного ему богом, причём ищет по имени. Чтобы «спрятать» ребёнка от злых духов, обычно подменяли его имя и вплоть до возмужания называли его подставным именем. Вариантов подмены имени много, но цель всех обрядов одна – «спрятать» ребёнка под подставным именем. Следовательно, никакого «изгнания нечистых сил» и лечебных функций в обычае переименования ребёнка нет. Большая часть личных имён носит именно охранительную функцию – от самых неприглядных «мусорных» до самых сакральных «божественных».

Соискатель утверждает, что «физическая, интеллектуальная, психологическая, биологическая, морально-этическая характеристика индивида наиболее ярко отражается в именах, связанных с внешним и внутренним миром человека» (с. 202). Это одно из наиболее широко распространенных заблуждений. Стоит только вспомнить, что имя нарекается новорожденному младенцу, и станет понятной вся абсурдность такого утверждения. В лучшем случае в именах-пожеланиях отражаются чаяния родителей, но не больше. Во всяком случае, я очень сомневаюсь в том, что «компоненты цветообозначений в личных именах описывают физические признаки (цвет лица, глаза, бровей и т.д.) человека и характеризуют его психологические качества (сильный, счастливый, мудрый и др.)» (с. 202). Очень сомневаюсь, чтобы имена типа *Карабаши*, *Кызылбаши*, *Сарыбаши*, *Каракаш* и т.п. были даны младенцу по цвету его волос или лица. Я знаю одного *Сарыбаши* (букв. «желтая голова», т.е. «блондин») – жгучего брюнета. Видимо,

мотивация выбора «цветных» антропонимов прячется в тайниках архаической ментальной культуры. Но на первом месте в мотивации выбора личного имени всегда была охранительная магия. Задача ономотолога – выяснить мотивы защитных, охранительных функций «цветных имен».

Параграф 2.2: «Обрядовые действия с личным именем в татарской культуре», по сути, посвящён некоторым вопросам мотивации выбора личных имён, а также их подмены в критических ситуациях. Рассмотренные здесь обычаи манипуляции с личным именем позволяют понять отдельные грани проблемы соотношения между человеком и его индивидуальным антропонимом. Согласно архаическим представлениям, человек и его личное имя представляли некую единую сущность. На этой основе сформировалась вера в возможность предрешать судьбу человека путём манипуляции с его личным именем. Соискатель полагает, что «обрядовые действия с личным именем выполняют охранительную, лечебную, магическую функцию» (с. 119).

В данном параграфе, как, впрочем, во всей второй главе, содержится чрезвычайно интересный для понимания функциональных аспектов личных имён экстралингвистический материал.

В рамках отзыва нет возможности обсуждать описанные соискателем оригинальные обычаи, связанные с выбором личного имени, наречением ребёнку имени, переименованием и т.д. поэтому ограничусь лишь указанием на некоторые спорные моменты. Так, в диссертации неоднократно упоминаются обрядовые действия, связанные с печкой (дымоходом, вьюшкой и т.п.). Автор пытается объяснить все манипуляции с печкой тем обстоятельством, что «дымоход считался местом вхождения нечистых сил в дом» и «печная труба является обращением к нечистым силам» (с. 120). Далее идёт описание лечебного обряда «припекания худосочного ребёнка», что, конечно же, никак не связано с «антропонимической системой». Обряд кормления домовых духов («если ребенок болеет... готовили пшённую кашу, ставили её на печку», с. 119) также относится к лечебной магии.

А вот обряд, описываемый автором как «опускание ложки через печную трубу» (с. 120, 123) действительно связан с наречением имени ребёнку, но его суть не совсем правильно истолкована автором. Соискатель пишет: «В печной дымоход опускали ложку...» (с. 119–120), «В случаях когда, у ребенка находили родимое пятно на теле, то в церемонии имянаречения через дымоход опускали ложку. Называли именами с компонентом *миц*: *Мицнегол*, *Мицнебай*, *Мицнекамал* и др. (с. 123). В другом месте утверждается следующее: «Если у ребенка были родимые пятна на теле, то ему обязательно давали имя с компонентами *миц*, *кал*, обрядовое действие по этому поводу в народе называют *миц боздыру*. Выполняя данный ритуал, заказанские татары кормили ребенка кашей, затем ложку кидали в дымоход» (с. 156). Следуя этим словам, я пытался представить себе, каким образом татарские повитухи (или кто там ещё) умудрялись «опускать ложку через печную трубу», но у меня ничего не получилось. Право, не залезали же бабки на крышу дома...

Обратимся, наконец, к оригинальным татарским текстам. А в них сказано: «*Исемен алыштарам, Миннегол булсын. Кашык төшердем, сәләмәтлек бирсен дит*» (Баязитова, 2012, 141). Приведу свой перевод этого текста: «Подменяю имя, да будет *Миннегол* (букв. «раб божий, обладающий родинками»). Уронила ложку, молвив, дай (боже ему) здравия».

Второй текст «*Баланың мице булса, жүшкәдән кашык төшереп исем кушалар ыйы. Мицнегол, Мицнебай, Мицнекамал исемнәре кушалар, кашык төшереп исәм кушалар ыйы, баланың мице булса*» (Баязитова, 2012, 188). Мой перевод этого текста несколько отличается от приведённого в диссертации: «Если у ребёнка есть родинка, ему нарекают имя, сняв с печной вьюшки ложку (видимо, речь идет о перекладывании ложки с вьюшки на младенца). Нарекают имя *Мицнегол*, *Мицнебай* (букв. «богатеи с родинкой»), *Мицнекамал* (букв. «само совершенство с родинками»; *Камил* – один из эпитетов пророка

Мухаммеда), если у ребёнка есть родинка, положив ложку». Трудность перевода обусловлена многозначностью глагола *təşer-* «опустить».

Нетрудно заметить, что в оригинальных текстах вообще нет упоминания печной трубы или дымохода, а упоминается только выюшка (тат. *юшкә*, диал. *жүшкә*, *йушка*, *йушкә*), которая, видимо, и вызвала ассоциацию с печной трубой.

В данном случае выюшка служит заместителем более архаичного, уже давно забытого *уша* (диал. *улчә*) – узкой дощечки вдоль печи, приступка, или широкой доски вдоль стены перед шестком для посуды и т.п. В центре избы рядом с печкой в старину находилось специальное сооружение *уша баганасы*, которое аффилировалось с пенатами – духами предков. Именно около этого «столба» проводились ритуалы в честь домашних духов – хранителей семейного благополучия: там их «кормили», приносили жертвенные дары (в частности – *солге*) и т.д. Там же хранилась ритуальная ложка, из которой кормили домашних духов (*ой иясе*, *йорт иясе*). Впоследствии, в связи с исчезновением *уша*, ложка переместилась на печную выюшку. Эта ритуальная ложка символизировала благополучие и достаток, её возложение на младенца воспринималось как сошествие (тат. *төшү*) благословения предков на новорожденного.

Требуется объяснения и такой момент: почему и каким образом «обряд опускания ложки в печную трубу» или, как теперь проясняется, обряд возложения ритуальной ложки на ребенка, сопряжен с родинками (тат. *миң*) на теле ребенка. Соискатель утверждает, что «у тюркских народов компонент *миң* в личных именах символизирует удачу, счастье; отражает внешние особенности ребёнка, связанные с родимыми пятнами; является магическим средством от сглаза, порчи, избавления от болезней, невзгод» (с. 155–156).

Но это далеко не так. По представлениям тюркских народов, родинка на теле ребёнка означает, что он помечен самим богом (ср. чув. *тур палли* – «родинка», букв. «божий знак») и находится под опекой самого бога. К «помеченному богом» ребёнку заказана дорога всякой нечисти. Имена с компонентами *миң* «родинка», *миңде/миңне* «с родинкой», т.е. «помеченный богом» давались младенцам не потому, что у них имелись родинки, а совсем даже наоборот – чтобы ввести в заблуждение злокозненных духов: называя ребёнка *Миңде/Миңне* «помеченный родинкой», люди стремились отвести от него враждебные силы.

Такого рода замечания можно продолжить. Однако нельзя забывать, большинство из них относится к области ментальной (религиозно-мифологической), ритуально-обрядовой, магической культуре и к собственно лингвистическим проблемам антропонимики имеют косвенное отношение.

Параграф 2.3: «Репрезентация окружающего мира в тюркских личных именах», насколько я понял из его содержания, является данью модному сейчас когнитивному направлению в лингвистике. Антропонимический материал по своей специфике, большей частью из-за затемнённости номинативных значений личных имен и выборочной антропонимизации апеллятивной лексики, является далеко не показательным источником для изучения вербальной, языковой репрезентации окружающего мира.

Большинство антропонимов было десемантизировано уже на достаточно ранних этапах развития языка, и без предварительного глубокого историко-генеалогического и этимологического анализа трудно понять генетические истоки и исходное номинативное значение личного имени. Не случайно антропонимические исследования пестрят многочисленными ложными и вольгарными этимологиями. Не минула чаша сия и рецензируемую диссертацию.

Автор рецензируемого исследования пытается убедить читателя, что «в татарском антропонимиконе семантика личных имен *Ögäçük*, *Oğadaj*, *Öğädaj Han* восходят к диалектальному слову *оғо* в значении «сова», распространенного в тюменском, заболотном говоре» (с. 132). Специалисту достаточно первого взгляда на эти имена, чтобы заподозрить их нетатарское происхождение. Проверка показывает, что перечисленные имена перекочевали в татарский антропонимикон из «Древнетюркского словаря» (ДТС,

379, 381). В основе древнетюркских личных имен лежит апеллятив *oga* «мудрый, мудрец», производный от *ög* «разум, мысль» (ср. др.-тюрк. *ogut* – тат. *üget* «совет», «наставление»). Следовательно, говорить о каких бы то ни было переосмыслениях слова **ögä* «сова» (реально др.-тюрк. *ügi, ügü, ühi* «сова») не приходится.

Татарские личные имена с основным компонентом *Идел* (*Идела, Иделия, Иделман, Иделбакты* и т.д.), очевидно, являются результатом фонетической адаптации личного имени арабского происхождения *'Адил ~ Әдел ~ Идел* (с номинативным значением «справедливый») – широко распространенного эпитета мусульманских правителей.

Уже эти примеры показывают, что ещё рано подводить какие-либо заключения о какой-либо объективной «репрезентации окружающего мира в тюркских личных именах».

Параграф 2.4: «Репрезентация временной модели мира в тюркских личных именах» также вызывает множество вопросов. Г.С. Хазиева-Демирбаш убеждена, что между названиями годов двенадцатилетнего животного цикла и личными именами тюрков, происходящих от соответствующих названий реальных животных, существует реальная связь. Для такого предположения нет сколько-нибудь серьезных оснований. Мы все еще не знаем, насколько широко было распространено в древнетюркском обществе знание календаря на основе двенадцатилетнего животного цикла. Да и сама идея календарной привязки антропонимов на основе названий животных вызывает большие сомнения уже хотя бы потому, что реестр животных календаря далеко не совпадает с реестром названий животных, представленных в составе тюркского антропонимикона.

Далее я очень сомневаюсь в том, что сколько-нибудь значительная часть татарского населения в XVIII–XIX вв. понимала номинативное значение личных имен арабского и персидского происхождения.

В данном параграфе прослеживаются и досадные упущения и ошибки. Так автор пишет: «О двенадцатилетнем животном цикле тюркских племен упоминается и в энциклопедическом словаре Махмуда ал-Кашгари... Как отмечает Махмуд ал-Кашгари, дети получают имя по названию времени рождения, а также время года проявляет прямое воздействие на характер ребенка» (с. 137). Ничего похожего на указанных страницах (с. 72–73, 344) «Диван лугат ат-тюрк» Махмуда ал-Кашгари (М., 2010), к сожалению, я не обнаружил. Я не нашел также сколько-нибудь убедительного фактуального материала для констатации, что «личные имена, связанные с временем, ярко отражают взгляды тюркских народов о пространственно-временном отрезке жизни, в котором циклическое время представлено антропоформантами, обозначающими календарь тюркских народов» (с. 144).

Мусульманские праздники сами по себе, разумеется, служат маркерами для градации времени, но как мусульманский календарь повлиял на «репрезентацию временной модели мира в тюркских личных именах» – для меня остается неразрешимой загадкой.

По большому счету, я никак не смог понять, где она все же скрывается эта «временная модель мира» в личных именах.

Параграф 2.5: «Репрезентация внешнего и внутреннего мира человека в тюркских личных именах», по словам автора посвящен «анализу семантики личных имен, отражающих сенсорные (т.е. чувственные? – Н.Е.) оценки человека» (с. 145).

«Синтез функций конкретизации и коннотации в личном имени, – пишет соискатель, – дает возможность определения личного и этнокультурного поля, которое является основой особенностей информации личного имени. Различные языковые средства могут использоваться в идентификации и индивидуализации человека. В антропонимической системе выступают различные антропокомпоненты и антропоформанты, которые составляют информационное, личное, социальное, этнокультурное поле личного имени и представляют физическую, интеллектуальную, психологическую, биологическую, моральную характеристики, этнокультурную

особенность человека, его национальность, социальную, территориальную принадлежности» (с. 145–146).

Я долго бился над смыслом этих языковых перлов, но так и ничего не понял. Личное имя нарекается новорожденному, у которого ничего этого (кроме, пожалуй, некоторых физических особенностей) нет.

Личное имя не указывает ни на национальность («Его имя *Ахмет*, но он чуваш...»), ни на социальное положение (долгое время в нашей деревне нанимали в пастухи татарина *Шаймурзу*), ни на внешние особенности (*Карабикэч* может быть «натуральной блондинкой», а *Акбиби* – жгучей брюнеткой), ни на черты характера и т.д. Сигнификативная функция индивидуального антропонима ограничивается лишь отнесением собственного имени к определенному разряду онома и актуальность его практически равна нулю: личное имя на то и личное, что оно всегда «ищет» конкретного человека.

Надо чётко различать понятия «лексическое (ономастическое) значение личного имени» и исходное «мотивационное значение» компонентов личного имени, т.е. экстралингвистическую причину создания или выбора данного имени собственного для данного человека. Нельзя выдавать за «номинационное значение личного имени» информацию, извлеченную из индивидуального антропонима путем его историко-генетического, этимологического, этнокультурологического анализа. Знать значение имени значит знать названного этим именем человека. Не более того.

Семантика личного имени определяется закреплённостью его за конкретным членом социума.

Личное имя даже самое прозрачное в структурном отношении не несет никакой информации об интеллектуальном, психологическом, моральном, физическом, биологическом, социальном, этнонациональном облике или характере человека, которому оно принадлежит. И никакой «антропокомпонент» и «антропоформант» ничего такого не представляет. Я не понимаю, каким образом «в антропонимической системе тюркских народов внешний и внутренний мир человека раскрывается в метафорических значениях цветов (вернее цветообозначений): *кара*, *ак*, *сары*, *күк*, *кызыл*, *сары* (повтор. – Н.Е.), *буз*, семиотика (м.б. все же семантика. – Н.Е.), по мнению исследователей, исторически связана с природными явлениями и культурными особенностями» (с. 146). В этом параграфе рассмотрены личные имена, в составе которых отчетливо выделяются цветообозначения. Несмотря на достаточно длительную традицию изучения семантики цветообозначений в составе тюркских антропонимов проблема еще далека от разрешения. Во всяком случае, уже сейчас понятно, что особое пристрастие тюрков к «цветным» именам требует более глубоких исследований в области мифологической семантики цветообозначений в глубинах коллективного подсознательного. Тем не менее, уже сейчас ясно, что антропонимикон в целом не является репрезентативной эмпирической базой для изучения вербальных проявлений внешнего и внутреннего мира человека.

Параграф 2.6: «Репрезентация пожелания родителей в тюркских личных именах» посвящен исследованию особого разряда личных имен, получившего, на мой взгляд, не совсем удачное наименование «имена-пожелания» (дезидеративы) (с. 103). При желании практически любое личное имя (независимо от его происхождения) можно подогнать под рубрику «дезидератив». Большинство исследователей так и поступает. Однако, по-моему глубокому убеждению, исследователям антропонимикона следовало бы сперва наперво изучить проблему мотивации выбора имени для новорожденного. Эта проблема не так проста, как может показаться при первом приближении. Знакомство с соответствующей литературой показывает, что исследователи слепо следуют за показаниями современных информантов, даже не утруждая себя критическим анализом этих чрезвычайно запутанных и противоречивых сведений. Необходимо разграничивать исходную семантическую мотивированность личного имени, т.е. мотив первичной номинации, мотив вторичного использования имени, мотив перемены имени и т.д. Опыт изучения

антропонимии показывает, что исходное мотивационное значение имени не всегда соответствует сумме значений лексических компонентов личного имени и постоянно эволюционирует и трансформируется (под влиянием дополнительных мотивов) при вторичном (и последующих) использовании личного имени. Мотивировка первичной номинации перманентно нарушается, подменяется другой, особенно при народной этимологизации имени. Между мотивацией создания данного личного имени и мотивацией выбора именно данного имени при имянаречении – огромное расстояние, иногда даже большее, чем «от Ростова до Рождества Христова».

Во всяком случае, я не думаю, что родители, выбирая своему чаду имена *Хоснизада, Зифанур, Сагадат* и т.п., «заморачивались» поисками их исходных номинативных значений. Ясно, что они руководствовались другими соображениями.

В выборе личного имени необыкновенно велика роль моды, о чем мы редко вспоминаем.

Среди экстралингвистических причин создания или выбора личного имени чрезвычайно важное значение имела вера в магическую силу имени, в частности, в его охранительную, апотропеическую силу. В диссертации освещению этой актуальной проблемы вполне обоснованно посвящен целый параграф 2.6.1: «Этнокультурные аспекты сравнительного анализа личных имен в тюркских языках». Правда, «сравнительный анализ личных имен» предполагает прежде всего лингвистический аспект компаративного анализа антропонимической лексики тюркских языков, но экспансия сравнительного историко-генетического метода на этнокультурный аспект только приветствуется.

В результате сравнительного анализа дезидеративов и апотропеических имен соискатель пришел к выводу, что такого рода личные имена в тюркских языках «являются одними из ключевых антропонимических кодов в актуализации тех или иных реалий» (с. 170).

Параграф 2.7: «Репрезентация социальной модели мира в тюркских языках» посвящен изучению социальной номенклатуры, выступающей в качестве основного компонента личных имен. Автор полагает, что сословные титулы в составе личных имен отражают «мотив желанья достичь ребенку определенного общественного положения, материальной независимости» (с. 171). Такое утверждение мне кажется слишком прямолинейным. Выбор «высокой» социальной терминологии для создания имени собственного скорее был мотивирован в тюркском обществе всеобщей верой в божественность монарха, правителя, носителя идеи порядка, гармонии, выполняющего мироустроительную функцию и т.п. Харизматическая власть в потестарном смысле, как правило, органически сливается с властью сакральной, ритуальной, что создает одну из важнейших особенностей соционормативной культуры древнетюркского этнолингвокультурного континуума. По воззрениям древних тюрков, включение в состав личного имени «высокого» социального титула обеспечивало ребенку обладание сакральной харизмой и предопределяло лидерство в коллективе в любой сфере деятельности. Бросается в глаза, что социальная номенклатура (включая потестарно-политическую и религиозно-конфессиональную) в составе личных имен употребляется наравне с другими «терминами сакральности»: *тенгри, кут, кутлу, сулде, ураз*; видимо в этом же ряду следует рассматривать *кун* «солнце», *ай* «луна» и т.д. Это, значит, что ментально ребенок оказывается под харизмой высших сил. В конечном счете получается, что социальная терминология в составе личных имен призвана выполнять апотропеическую функцию.

Индивидуальные антропонимы, посвященные какой-либо личности (*Вилтур, Мулланур, Энгельс* и т.д.) под эту рубрику не попадают, так как возникли исключительно в угоду постреволюционной идеологизированной моды. Поэтому меморативы следует изучать отдельно от имен апотропеических.

На мой взгляд, не совсем корректно рассуждать о «репрезентации социальной модели мира (или даже социальной структуры общества) в тюркских личных именах»,

ибо не для этого последние предназначены. Гораздо больше оснований говорить о функциональной роли социальной терминологии в антропонимической системе тюркских языков.

Параграф 2.8: «Репрезентация мифопоэтической модели мира в тюркских личных именах» в сущности своей посвящен изучению личных имен, встречающихся в вербальных текстах разных жанров (дастанах, пословицах, загадках) тюркского фольклора. Этот раздел относится к ведению лингвофольклористики, поэтому здесь нет особой необходимости обсуждать эту достаточно далекую от сравнительной антропонимики тему. Фольклорные антропонимы, при всей их структурной и материальной близости к индивидуальным антропонимам, живут своей жизнью, поэтому этнокультурные аспекты их сравнительного исследования требуют особой методики и приемов.

В главе второй в аналитическую процедуру задействован огромный репрезентативный эмпирический материал, однако его научно-теоретическая интерпретация оставляет желать лучшего. Саму постановку темы как репрезентация картины мира («окружающего мира», «временной модели мира», «внешнего и внутреннего мира человека», «социальной модели мира», «мифопоэтической модели мира») в личных именах нельзя признать достаточно корректным. Актуальность сигнификата (понятийного содержания) антропонима практически равна нулю (Рут, 2001, 60), поэтому говорить о репрезентации и экспликации картины мира в антропонимической системе не приходится.

Третья глава «Сравнительно-исторический анализ тюркских личных имен в этнокультурном пространстве языка (на материале татарского антропонимикона)» состоит из восьми параграфов, в которых история татарских личных имен прослеживается начиная с древнетюркского периода до начала XXI столетия (с. 205-291).

Впореки сложившейся в тюркской антропонимике традиции, я бы не рисковал проецировать истоки современных антропонимических систем тюркских народов на столь отдаленные диахронические страты. Личные имена относятся к очень подвижному разряду лексики, подверженному, к тому же, влиянию моды. Так, известный по древнетюркским рукописным памятникам антропонимикон, при всем структурном, типологическим и даже частичном материалам сходстве нельзя считать основой антропонимикона ни одного современного тюркоязычного народа. Антропонимическая система каждого тюркского народа имеет свое неповторимое лицо. Это свидетельствует, что антропонимические системы тюркских народов сформировались уже после окончательного сложения современных тюркских народов. Относительная близость антропонимических систем, скажем, татар и башкир, казахов и каракалпаков, объясняется скорее активными контактами в последние три-четыре столетия их совместной истории, чем общими генетическими истоками.

Я не думаю, что историю антропонимикона современных казанских татар и мишарей кому-нибудь удастся проследить со времен тюркских каганатов VI–VIII вв. Татарские имена времен Казанского ханства существенно отличаются от зафиксированных в писцовых книгах конца XVI–XVII вв. личных имен служилых татар. А уже с последней трети XVIII в. в антропонимиконе современных казанских татар начинают доминировать канонические мусульманские имена арабского и персидского происхождения. Поэтому я не признаю выделения в антропонимиконе современных татар средневекового (X–XV вв.) и тем более древнетюркского (V–X вв.) диахронических пластов. Следовательно, не нахожу нужным останавливаться на обсуждении параграфов 3.1: «Древнетюркский период развития и функционирования антропонимикона (V–X вв.)» (с. 207–220) и 3.2: «Средневековый период развития и функционирования антропонимикона» (X–XV вв.) (с. 221–229). Кстати, замечу, что уже с древнетюркского периода прослеживаются различия в антропонимических системах тюркютов (правлящей династии Ашина), огузов (тогуз-огузов), огуров (он-уйгуров), оногуров («западных

тюрков») и т.д. Со средневекового периода уже можно говорить об антропонимах кимаков и кыпчаков, а также половцев, так или иначе причастных к этнолингвогенезу казанских татар. А вот зафиксированные в «Дивану лугат ат-тюрк» Махмуда ал-Кашгари личные имена тюрков прямого отношения к формированию татарского антропонимикона не имеют.

Я здесь деликатно обойду болгарскую проблему, ибо мало что известно о составе антропонимикона ранних (домонгольских) болгар, а эпиграфические памятники XIII–XIV вв., как свидетельствуют тахаллусы в составе имен погребенных, принадлежали выходцам из Средней Азии, хотя надписи на больших памятниках выполнены на местном болгарском языке. Надгробия, несомненно, принадлежат мусульманам, мигрировавшим в Булгарию из Средней Азии (Хорезма) и, естественно, содержат мусульманские имена (нередко с болгарскими вкраплениями: *Аюп йори* – чув. *Аюп сүри* – букв. «чадо Аюпа», *Аслан* – чув. *Услан* «лев», *Бюлертей* – чув. *Пүлер*, т.е. «булгарин», *Урум Алп* – чув. *Вәрәм Улп*, букв. «Длинный Великан» и т.д.).

Автор полагает, что арабские по своей этноязыковой принадлежности личные имена начинают проникать в Урало-Поволжье уже с рубежа I–II тысячелетия н.э, когда «ислам стал господствующей идеологией Волжской Булгарии» и его официальное принятие в 922 году «сыграло ключевую роль в формировании бытового уклада, культуры, традиций татарского народа» (с. 229–230), а «стратиграфический анализ татарского антропонимикона выявил, что начиная с 922 года личные имена арабского и персидского происхождения стали заметно вытеснять личные имена тюркского происхождения» (с. 240). Проблема появления и распространения мусульманского именника в Среднем Поволжье посвящен параграф 3.3. «Мусульманские традиции именования в этнокультурном пространстве» (с. 229–253). Содержание этого параграфа в целом посвящено проблеме распространения мусульманских традиций имяназвания в «этнокультурном пространстве тюрко-татарского языка». Велед за Г.Ф. Саттаровым автор справедливо указывает, что «проникновение в болгарский язык личных имен арабского происхождения начинается с 922 г. с принятием ислама, но широкое распространение получает лишь к началу XIX в.» (с. 230; ссылка на: Саттаров, 1990, 34). Однако с утверждением «принятие ислама оказало большое влияние на все лексические уровни тюрко-татарского языка» можно согласиться лишь с оговоркой «не ранее рубежа XVIII–XIX вв.» да и то лишь применительно к письменно-литературной форме татарского языка, вернее к так называемому «поволжскому тюрки». Даже современному татарскому читателю без дополнительных пояснений трудно понять «большую часть словарного состава» тюрки XIX века. Половину текста современных публикаций работ XIX века занимают подстрочные комментарии. Автор совершенно правильно констатирует, что «на начальном этапе принятия ислама арабо-персидские личные имена стали употребляться прежде всего в антропонимической системе аристократических слоев, а среди простого населения распространения и популярности не имели» (с. 230). Сказанное всецело относится и к проблеме масштабов распространения ислама в домонгольской Волжской Булгарии. Но при этом нельзя забывать такой печальный факт: вся аристократия, более того, все городское население Волжской Булгарии было уничтожено в ходе монгольского завоевания 30-40-х гг. XIII столетия. Это значит, что мусульманский компонент культуры домонгольской Волжской Булгарии в 40-х годах XIII в. прекратил свое существование.

Далее, мусульманская культура начинает просачиваться на территорию Булгарского вилайата Золотой Орды где-то во второй половине XIII века. Эта вторая волна мусульманской культуры также прерывается в 60-х годах XIV века из-за пандемии «черной смерти» и исчезает окончательно в ходе погромов войск Тамерлана в конце XIV в.

Нам практически ничего не известно о конфессиональной ситуации в Казанском княжестве, основанном ханом Хасанов в Заказанье в 1360–1370-х годах, а также об уровне распространения ислама в среде «татар», основанных в 1445 году во главе ханом

Мухаммедом (Мамутеком) Казанское ханство. Более того, мы практически ничего не знаем об этноязыковой и конфессиональной принадлежности тех «татар», которые пришли к юго-восточным рубежам Великого княжества Московского в составе войска Улуг Мухаммеда. Мы даже не представляем, что из себя представляло население Казанского ханства, которое сформировалось в результате конвергенции «многих варваров от различных стран: от Златых Орд, от Асторохани, и от Азова и от Крыма»: на каком «тюрко-татарском языке» оно говорило и каким богам молилось.

Мы еще мало знаем об этнолингвокультурных процессах, происшедших на территории Среднего Поволжья после «Казанского взятия», после подавления Казанских и Черемисских войн, в первое столетие активной колонизации Казанского края. Меня давно беспокоят подозрения, что татарское население бывшего Казанского ханства частью было истреблено в ходе завоевательных войн и карательных походов, частью было пленено и вывезено в Московию, частью бежало на Урал, в Ногайские степи и т.д.

Современные казанские татары скорее всего являются потомками «испещенных» с бассейна Оки в Казанский край служивых татар и ассимилированного ими автохтонного населения.

Правда, мы знаем, что официально принятой в Казанском ханстве в период его расцвета государственной религией был ислам, но имеем самые смутные представления о ментальной (религиозной) культуре простых обывателей – «казанцев». Напомню, что еще Ш. Марджани, К. Насыри и другие ранние просветители застали в быту казанских татар множество домусульманских языческих пережитков.

Исходя из всего сказанного, я полагаю, что историю формирования антропонимикона Волго-Уральских татар реально можно проследить, только начиная со второй половины XVI века. Разумеется, исторические экскурсы в более ранние этапы развития антропонимикона других тюркских (прежде всего кыпчакских) народов не только оправданы, но и необходимы. Однако при этом необходимо более щепетильно подходить к вопросам этноязыковой атрибуции как источников, так и фактуального материала. Надо уметь выбирать из множества «тюрко-татарских» личных имен именно татарские и при этом четко разграничивать казанско-татарские, мишарские и прочие, не говоря уже о множестве других (сибирских, астраханских, крымских, литовских... татарских идиомов. Короче говоря, надо навести порядок в «тюрко-татарском» спаме антропологических систем. Более щепетильный подход к проблеме генетической и хронологической стратификации пока еще аморфного тюрко-татарского конгломерата антропонимов позволит обезопасить себя от многих скоропалительных выводов, как, например, утверждение, что уже в золотоордынский период «проникновение арабо-персидских (я бы все же сказал «арабских и персидских»). – Н.Е.) заимствований в татарскую антропонимическую систему постепенно превращалось в традицию...» (с. 234). Напрашивается вопрос: о каких «татарах» идет речь? Если известно, что казанцы стали называться татарами только с начала XX века, а под этнически индифферентным термином «татары» вплоть до нового времени подразумевалось все кочевое (преимущественно немусульманское) население Великой евразийской степи, включая ираноязычные, монголоязычные и прочие племена. По свидетельству Ш. Марджани «казанцы» еще в XIX в. предпочитали называть себя мусульманами, а в этническом плане – ногайцами. Следовательно, есть резон для сравнительного изучения антропонимов казанских татар XV–XVII вв. и средневековых ногайцев.

В последующих параграфах (3.4–3.8) прослеживается историческая динамика татарского антропонимикона с конца XVI – начала XVIII вв. до XXI в по столетиям.

Татарский антропонимикон XVI–XVII вв. исследуется на фактуальном материале Писцовых книг Казанского уезда 1565–1568, 1602–1603, 1647–1656, 1685–1687 гг. Автор установил, что «большая часть личных имен функционировавших в конце XVI – начале XVII вв., имеют тюркское происхождение» (с. 259–260). Напомню, что в писцовых книгах были зафиксированы личные имена и отчества (а не фамилии, как ошибочно утверждает

автор) военно-служилого сословия, т.е. «испомещённых» после 1552 г. с бассейна Оки в Казанский край служилых татар, нанятых в свое время на службу в Московское великое княжество из числа кочевников южнорусских степей. Бросается в глаза явное различие антропонимикона служилых татар XVI–XVII вв. от личных имен аристократии Казанского ханства (с. 235–236). К сожалению, судить о репертуаре личных имен рядовых обывателей Казанского ханства мы не можем. Однако восстановить его можно по дохристианским антропонимиконам чувашей, мари, удмуртов, а также антропонимам, комонимам Среднего Поволжья и свидетельствам некоторых письменных источников. Правда, это дело будущего но уже сейчас можно утверждать, что в основе своей антропонимикон татар Казанского ханства был в своей основе тюркским и мало чем отличался от именника служилых татар XVII–XVIII вв.

Антропонимикон XVIII века в диссертации проштудирован главным образом на богатом репрезентативном эмпирическом материале, почерпнутом из «ревизских сказок» 1760-х гг.

Вторая половина XVIII века характеризуется духовным возрождением татарского народа, активизацией миссионерской деятельности, строительством мечетей, открытием при них мектебов и медресе и возрождением мусульманской учености. Этому способствовало молодое поколение духовенства, получившее образование в мусульманских центрах Средней Азии и Ближнего Востока. Соискатель отмечает, что личные имена, образованные от тюркской модели в источниках второй половины XVIII века встречаются реже, чем в писцовых книгах XVII века, а количество личных имен с антропокомпонентами арабского и персидского происхождения значительно возрастает.

Подводя итог, соискатель констатирует, что XVIII век в историческом развитии антропонимических системы татар стал переломным моментом. Вторая половина XVIII века характеризуется сменой традиционного антропонимикона на тюркской основе мусульманской: в материалах «ревизских сказок» 1760-х годов доля личных имен с антропокомпонентами арабского и персидского происхождения достигает 98 % от всех зафиксированных личных имен (всего проанализировано 2367 имен, из них 1852 мужских и 515 женских).

XIX век в истории татарского народа становится веком реформации, мусульманского просвещения, секуляризации общественной жизни, конструирования новой парадигмы национального развития на мировоззренческой основе ислама (с. 264). С конца XIX века Магометанское духовное управление начинает активно пропагандировать среди мусульман канонические личные имена. Доля личных имен арабского и персидского происхождения в общем именнике татар Казанской губернии начинает превалировать за 99 %.

Буржуазные реформы конца XIX – начала XX вв. затронули многие стороны социальной жизни татарского народа, они способствовали зарождению движения за обновление ислама, возникновению мусульманского образования нового типа, формированию светской интеллигенции татарского общества в целом. В первые десятилетия XX века во все сферы социальной жизни татарского общества начинают проникать западные идеологические и культурные веяния, активизируется влияние русской культуры на социальную жизнь городских татар. Все это уже в предреволюционный период приводит к распространению моды на русские имена, а также к гиперкоризации собственно татарских имен. На волне реформаторского движения джадидизма светская интеллигенция начинает публично выступать против засилия мусульманских личных имен в антропонимиконе татар (с. 237, 271–272). Однако резкие изменения в татарском антропонимиконе в целом происходят после известного октябрьского переворота 1917 года. Изучив именник метрических книг 1917 года, Г.С. Хазиева-Демирбаш выявила прогрессирующую тенденцию к упрощению двусоставных личных имен и росту количества односоставных (с. 272–273). В постреволюционный период на страницах газет и журналов разворачивается пропаганда «светских»

идеологизированных имен и нового обряда имянаречения – «октябрин». Заданная энтузиазмом довоенных лет тенденция к коренному преобразованию традиционного мусульманского именника продолжается вплоть до наших дней.

В татарском именнике советского и постсоветского времени прогрессирует мода на экзотические, искусственно созданные имена, вместе с тем сокращается репертуар как мужских, так и женских личных имен.

Третий раздел диссертации, в отличие от двух предыдущих, ориентирован на исследование собственно лингвистических аспектов исторической динамики антропонимикона татар конца XVI века. Этот раздел представляется мне наиболее удачным и корректным. Всяческой похвалы заслуживает редкое в наше время усердие соискателя по введению в научный оборот совершенного нового репрезентативного эмпирического материала из многих первоисточников, до сих пор не попавших в поле зрения языковедов.

Приведенные в каждом параграфе теоретические выводы корректны, в совокупности они эксплицируют историческую динамику антропонимикона татар на протяжении последних пяти столетий.

Завершая этот затянувшийся отзыв, хотелось бы приступить к общей оценке диссертации. Можно ли сказать, что многогранная и многоплановая проблема сравнительного историко-генетического и этнолингвокультурологического исследования татарских личных имен окончательно решена и исчерпана в этом исследовании? – Нет, нельзя. Можно ли сказать, что сделан серьезный и крупный шаг в изучении антропонимической системы татар? – Несомненно!

Соискатель прекрасно понимает, какую огромную, многоаспектную и архитрудную задачу поставил перед собой, что уже сделано им в этом направлении и какие трудности лингвистического, культурологического этнологического и исторического плана еще предстоит преодолеть, чтобы проникнуть в этнокультурное пространство татарского антропонимикона и постичь если и не все, то хотя бы большую часть сокровенных тайн личных имен тюркоязычных народов, скрытых под плотной пеленой истории. Клио, муза истории, скаредна, и хранит свои секреты за семью печатями. Потому и соискателю пришлось подойти к сокровищнице Клио с целым набором ключей – от лингвистической компаративистики до этнокультурологии. Но пока, увы, еще не все печати удалось снять. И важно отметить – соискатель не тешит себя иллюзией, что открыл какую-то бесспорную истину последней инстанции, а устремлен в будущее – к новым открытиям на выбранном им научном поприще.

Соискатель так много знает и в лингвистике, и в этнокультурологии, и в истории, и в компаративистике... Нередко груз этих многогранных знаний его подавляет, и он подчас не может принять окончательного решения той или иной гипотезы. Но это отнюдь не умаляет научные достоинства исследования. Настоящая наука не может развиваться без спорных проблем, полемических вопросов и жарких дискуссий. Само собой разумеется, что отягощенный не только годами, но и многолетним опытом, оппонент на многие поднятые в диссертации молодой коллеги проблемы смотрит с несколько других позиций. Однако надо уважать и альтернативные точки зрения, тем более, когда они изложены в рамках достаточно выдержанной научной парадигмы современной когнитивной лингвистики.

Читать работу интересно, хотя местами нелегко. Масштабы и глубины проблематики вряд ли имеют аналогии в частных ономотологиях. Репрезентативного фактуального материала чрезвычайно много, междисциплинарные связи необычно сложны, растянуты во времени и пространстве. Спорных вопросов предостаточно. Порой соискатель сам вольно или невольно их провоцирует. В процессе ознакомления с диссертацией возникает целая серия вопросов, раскрывающих эвристический потенциал антропонимики.

Что следует понимать под этнокультурным пространством в рамках антропонимического исследования?

Являются ли антропонимы лингвокультурами?

В чем выражается этнокультурная маркированность онимов?

С какими модусами связано этнокультурное содержание личного имени?

Каким образом в личном имени репрезентировано этнокультурное содержание?

Что превалирует в татарской «антропонимической системе»: татарская (шире – тюркская) этнокультурная специфика или универсалии?

Где находится национально-культурная специфика ономастикона: на периферии языка или составляет его суть?

Насколько возможно отразить культурное содержание личного имени лексикографически?

Каковы способы индексации культурной информации личного имени?

Какие сущности ментального уровня соотносятся с культурным содержанием личного имени?

Каким образом осуществляется актуализация сущностей ментального и культурного уровней антропонима?

Существуют ли особые антропонимические категории, соотносящиеся с описанием личного имени в связи с его соотносительностью к культуре?

Существуют ли особые методы анализа, которые позволяют выявить этнокультурное составляющее в личном имени?

Каким образом соотносятся ментальный и этнокультурный уровни личного имени с коммуникативным поведением?

Какие лингвистические парадигмы наиболее тесно сопряжены с описанием этнокультурного составляющего имени?..

Все перечисленные вопросы логично укладываются в те междисциплинарные направления, которые активно разрабатываются в рамках этнолингвокультурологических штудий в зонах взаимодействия с антропонимикой и сопряженных с ними других лингвистических и ономастологических парадигм.

Однако считаю своим долгом оговорить, что эти вопросы внесены в текст отзыва не для ответов «здесь и сейчас», а исключительно для последующих размышлений в процессе дальнейшего исследования проблем татарской антропонимики.

Будем помнить, что наука производит не истины, а новые идеи. Закрывая белые пятна она открывает черные дыры. С ними тоже надо заниматься. Лелея в глубине души надежду на то, что Гузалия Сайфулловна после успешной защиты докторской диссертации продолжит работу над дальнейшим изучением этнокультурного составляющего тюркского антропонимикона не отходя от богатой кассы собранного репрезентативного материала, я осмелился расставить путеводные вехи на дальнейшем тернистом пути к звездным высотам. Поэтому отзыв получился таким упитанным, дородным и пышным. Так что, не обессудьте. Я старался.

В заключение считаю своим долгом подчеркнуть, что изложенные выше многочисленные мои рассуждения (но ни в коей мере не утверждения и, тем паче, осуждения) вызваны исключительно желанием подчеркнуть чрезвычайную актуальность поднятой проблемы и поставленных в этой связи сложнейших практических задач и целей, а также теоретических обобщений. Был бы рад, если намеченные здесь во многих отношениях предварительные соображения дадут некий импульс для дальнейших более глубоких исследований акцентированных проблем и аспектов.

Кроме всего прочего, мне бы хотелось обратить внимание уважаемых членов диссертационного совета на многоплановость, трансдисциплинарный характер и, вместе с тем, невероятную запутанность изучения проблематики взаимоотношения лингвистического, этнокультурологического и исторического аспектов изучения антропологических систем как народов Волго-Уральского региона, так и тюркского мира

в целом, а также особо подчеркнуть научно-теоретическую значимость и практическую ценность вынесенных на защиту идей и обобщений. Дальнейшее изучение архисложных проблем исторической динамики не только тюркских, но и финских и славянских народов Восточной Европы, да и всего мусульманского мира, в их взаимоотношениях, взаимовлияниях и во всех мыслимых направлениях, аспектах, ракурсах и плоскостях теперь уже немислимо без учета материалов, наработанного опыта и научно-теоретических выводов рецензируемой диссертации, а также опубликованных четырех солидных монографий и без малого семи десятков статей, которые представляют непреходящую фактуальную, научно-теоретическую и методологическую базу для создания нового поколения монографических исследований, вузовских и школьных учебников и учебных пособий по истории татар, их языка и культуры и, конечно же, научно обоснованных рекомендаций для работников ЗАГСов и просто пособий для родителей.

Работа написана достаточно корректным научным языком, что наглядно демонстрирует, с одной стороны, хорошее знание автором предмета исследования, с другой – достаточно высокий уровень овладения комплексом приемов и методов современного сравнительно-исторического и когнитивного языкознания, а также соответствующим понятийным аппаратом научного описания этнолингвокультурных и историко-генетических взаимосвязей и взаимоотношений контактирующих антропонимических систем в достаточно глубокой исторической ретроспективе.

Наряду с отмеченными выше научными достижениями и досадными упущениями, как и во всякой серьезной научной работе, поднимающей и решающей весьма сложные теоретические и методологические проблемы, в рецензируемой диссертации содержатся отдельные моменты, вызывающие полемику, возражения или даже критику. Однако считаю необходимым специально оговорить, что эти спорные моменты не задевают ни общей теоретической концепции автора диссертации, ни используемых им приемов и методов анализа и критериев доказательств, а касаются лишь конкретных толкований и интерпретаций фактического материала (большой частью недостаточно корректных суждений, реконструкций и этимологий предшественников), а также существующих в татарской и шире, тюркской историографии недостаточно обоснованных гипотез и явных заблуждений. В этом, конечно, особой вины соискателя нет, а вот нагроможденных предшественниками подводных камней – хоть отбавляй.

Диссертационная работа Гузалии Сайфулловны Хазиевой-Демирбаш «Татарские личные имена в этнокультурном пространстве в сравнении с другими тюркскими антропонимами» в целом представляется серьезным и содержательным глубоко продуманным, насыщенным соответствующим репрезентативным эмпирическим материалом самостоятельным научным исследованием, посвященным архисложной неизмеримо запутанной и крайне слабо изученной, а потому в высшей степени актуальной проблеме трансдисциплинарного исследования системы личных имен татарского языка на стыке этнолингвокультурологии, лингвофольклористики, истории и лингвистической компаративистики. Работа в целом, вне всякого сомнения, заслуживает положительной оценки.

Основные научно-теоретические положения диссертации изложены в 73 публикациях по вынесенной на защиту теме (в том числе в четырех монографиях, в 18 научных статьях, опубликованных в изданиях, включенных в реестр ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации), а также апробированы на многих научных конференциях международного, всероссийского и регионального уровней (2007–2017 гг.).

Научные публикации и автореферат адекватно отражают основные положения и содержание диссертации.

Выдвинутая на соискание учёной степени доктора филологических наук по специальности 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и

сопоставительное языкознание диссертационная работа Гузалии Сайфулловны Хазиевой-Демирбаш «Татарские личные имена в этнокультурном пространстве в сравнении с другими тюркскими антропонимами» является завершённым, самостоятельным исследованием, полностью соответствующим требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. Исходя из вышеизложенного считаю, что автор рецензируемой диссертации Г.С. Хазиева-Демирбаш заслуживает присуждения ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.02.20 – Сравнительное-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Официальный оппонент:

доктор филологических наук
(по специальности 10.02.06 – тюркские языки),
ведущий научный сотрудник филологического направления
бюджетного научного учреждения Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт гуманитарных наук»
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики,
заслуженный деятель науки Чувашской Республики,
член-корреспондент Турецкого лингвистического общества,
академик Международной академии болгароведения,
инвестиций и культуры (София),
член Президиума Всемирной ассоциации тюркологов,
член Российского комитета тюркологов



Николай Иванович Егоров

09 января 2018 г.

Почтовый адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский
проспект, дом 29. Корпус I
Тел.: 8(8352)45-00-10, 45-00-05
e-mail: emingulay@mail.ru

Здесь	<u>Н.И. Егоров</u>	заявляю:
	<u>10.02.20</u>	
	<u>10.02.20</u>	
	<u>10.02.20</u>	

